

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В. К. ШИЛЕЙКО:
МЕЖДУ МОСКВОЙ И ПЕТЕРБУРГОМ (ЛЕНИНГРАДОМ)

Т. В. Цивьян

Статья связана с *петербургским текстом*, хотя связь эта, может быть, не такая явная и непосредственная, и ракурс несколько отличается от ожидаемого. Импульсом для выбора темы послужила переписка Владимира Казимировича Шилейко с Анной Андреевной Ахматовой и Верой Константиновной Андреевой, опубликованная сыном Шилейко Алексеем Владимировичем.¹

Сам жанр переписки указывает на документальность и биографичность книги. Она охватывает период с декабря 1924 по октябрь 1930: это начало романа петербуржца Шилейко с москвичкой Верой Константиновной Андреевой (они с Шилейко были сослуживцами по Музею изящных искусств), продолжение романа, развод с Ахматовой, женитьба на Андреевой, рождение в 1927 году сына, жизнь на два дома (поскольку для него было невозможно расставание с Петербургом), и соответственно “курсирование” между Мраморным дворцом в Петербурге (тогда уже Ленинграде) и Zubовским бульваром в Москве, окончательный переезд в Москву и недолгая жизнь там. Он умер от туберкулеза в Москве 5 октября 1930 г. в возрасте 39 лет.

Книге предпослано предисловие Вяч. Вс. Иванова “Три судьбы”. Предисловие начинается так: “Согласившись написать несколько вступительных слов к этой книге, я испытываю некоторую неловкость. Здесь собраны документы, относящиеся к жизни трех людей, связанных друг с другом сложным узлом эмоциональных, поэтических, научных и житейских

¹ Владимир Шилейко. Последняя любовь. Переписка с Анной Ахматовой и Верой Андреевой и другие материалы. Москва. Вагриус. 2003. Далее при цитировании этого издания указываются только номера страниц.

отношений. Это – великий русский поэт Анна Ахматова, замечательный востоковед (я добавила бы, и поэт² – Т.Ц.) Владимир Шилейко (второй муж Ахматовой, к тому времени с ней расставшийся или, скорее, расстававшийся) и последняя жена Шилейко – специалист по истории западноевропейского искусства Вера Андреева. В конце разворачивающейся в книге трагедии Шилейко совсем молодым – тридцати девяти лет от роду – умирает от чахотки, после чего его ненапечатанные рукописи постепенно пропадают...” (5).³

Обо всей сложности этой глубоко личной ситуации Вяч. Вс. Иванов весьма осторожно говорит в предисловии, никак не интерпретируя события по своим впечатлениям и мнениям и принципиально дистанцируясь от, к сожалению, умножающихся произведений, смело раскрывающих чужие души и биографии (не называю их здесь – *sapienti sat*). Все личные коллизии остаются за пределами и моей статьи. Не говорю я и о значении и масштабах востоковедческих исследований Шилейко, ассириолога с мировым именем, специалиста по клинописи, переводчика ассирио-вавилонского эпоса о Гильгамеше, – об этом, к счастью, уже написано достаточно. Не говорю здесь и о поэзии, в частности, о поэтическом диалоге Шилейко и Ахматовой.

Я пользуюсь и уже упомянутой книгой В. Шилейко, “Пометки на полях”, содержащей ценные документальные свидетельства об этом периоде жизни Шилейко. И, наконец, привлекаю “Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966)”. Москва-Torino 1966 (издание подготовили К. Н. Суворова, Э. Г. Герштейн и В. А. Черных - далее *Записные книжки*).

Иными словами, я обращаюсь только к свидетельствам из первых рук. Естественно, что встает вопрос и о других мемуарных данных и, прежде всего, о дневниковых записях Павла Лукницкого, который документировал этот период и по собственным впечатлениям, и по рассказам

² Первое обращение к поэзии Шилейко см. в работе: Топоров В. Н. “Две главы из истории русской поэзии начала века: 1. В. А. Комаровский – В. К. Шилейко: (к соотношению поэтики символизма и акмеизма)” // *Russian Literature* 1979. Vol. 7, № 3. См. теперь собрания стихотворений Шилейко: Шилейко В. К. “Тысячелетний шаг вигилий”. Томск. Водолей. 1994; Шилейко В. К. *Пометки на полях*. Стихи. Публ. И. В. Платоновой-Лозинской. Пред. А. Г. Меца, И. Г. Кравцовой. Подгот. текста и прим. А. Г. Меца. СПб. Издательство Ивана Лимбаха, 1999 (полный свод стихотворений Шилейко с подробным комментарием и архивными материалами, относящимися к его биографии, далее *Пометки*).

³ Вяч. Вс. Иванов занимался и ассириологическими трудами и поэтическим творчеством Шилейко, см., в частности: Иванов Вяч. Вс. “Одетый одеждою крыльев” // Шилейко В. К.. *Через время*. Москва 1994.

Ахматовой. В данном случае, я позволяю отнести к этому с некоторым резервом, поскольку, никак не умаляя значения этого фактографического материала, вижу в нем слишком явный отпечаток личности юного Эккермана и не всегда верную интерпретацию.

Письма Шилейко представляют собой своего рода многоязычную культурную и литературную антологию, подкрепляемую специальными научными комментариями, рассуждениями, более того, открытиями. Это, собственно говоря, центонность, столь характерная для поэзии Серебряного века. И выбором цитат, и их монтированием Шилейко создает текст особого рода: иногда возникает впечатление, что он “прикрывается” жанром частного письма как для осуществления своих литературных экспериментов, как и для “опробования” научных гипотез.⁴ Аккадские и хеттские тексты; золотая латынь Вергилия и Тацита; Данте, из любимой Шилейко итальянской литературы еще и Петрарка, Тассо, Микеланджело, Боккаччо; старофранцузская поэзия, прежде всего “Песнь о Роланде”; далее Вийон, Ронсар, провансальский поэт Мистраль; английский слой (Шекспир, Байрон, Броунинг, Лонгфелло); староиспанская поэзия, которой он в это время увлекся; стихи русских поэтов, в том числе его современников и друзей (Гумилев, Лозинский, Мандельштам). Практически нет ни одного письма, в котором не было бы фрагментов на иностранных языках. Все время идет остроумная полиглотическая игра, с литературными аллюзиями (Шилейко славился своим остроумием, и оно носило не столько ситуативный, сколько лингвистический характер). Письма Шилейко – высокий научный и поэтический монолог, который превращается в диалог (или полилог), поскольку он вовлекает в него своих адресатов; интеллектуальная напряженность этого диалога захватывает и поражает. И если письма Ахматовой, как ей вообще было свойственно, лаконичны и “закрыты”, то в письмах В. Андреевой почти всегда есть своего рода поэтическое эхо (прежде всего это тема Данте и Петрарки).

Кончаю это введение еще одной цитатой из предисловия Вяч. Вс. Иванова: “Книга дает представление не только о до сих пор изумляющем духовном взлете, который ее герои делили со всей интеллигентной Россией начала двадцатого века. Мы видим, вплоть до денежных мелочей, угнетавшие их подробности быта, трудности с жильем, дровами, продовольствием. Иной раз ловишь себя на том, что начал подсматривать в

⁴ Вяч. Вс. Иванов останавливается на транслитерации и переводе на русский аккадского письма четырехтысячелетней давности, включенного в письмо к Ахматовой, аккадского заведомо не знавшей: “На этом головоломном примере можно попытаться понять и трудности истолкования их переписки, и возможности, при этом открывающиеся” (9).

замочную скважину. Но мы не имеем права отбрасывать иные из таких деталей как несущественные...” (13-14).

Я позволяю себе обратиться именно к этим “несущественным деталям”, к “бытописательному” анализу ситуации, особенность (и сложность) которой состояла среди прочего в том, что она развивалась в двух городах, в культурно-исторической традиции противопоставленных друг другу – *Москве и Ленинграде*. Говоря, *ситуация*, я имею в виду не столько ситуацию как таковую, сколько “текст ситуации”, подходя ко всей переписке как к единому корпусу текстов (при этом только *sub specie быта* и в определенной степени *sub specie петербургского текста*).

Стержнем “текста ситуации” является *путь*, и в буквальном и в семиотическом значении слова. Это и регулярно совершаемый Шилейко *путь* из Ленинграда в Москву и обратно (один раз это путешествие совершает и Ахматова, для знакомства с Андреевой), и путь взаимных писем всех троих (расширяющийся записками из Москвы в Москву и из Ленинграда в Ленинград), и *путь* как концепт в его роли соединителя и разделителя. Примечательно, что реальное путешествие Шилейко идет с ретардацией: во всяком случае, он постоянно откладывает свой отъезд из Ленинграда. “Идеальное” же путешествие, путь писем, идет с ускорением: письма Шилейко отправляет только срочной почтой.⁵

Эта бытовая деталь является подступом к объявленной в статье бытописательной теме, к анализу *советского быта*, который мы знаем не только по документам, мемуарам и исследованиям, но, к сожалению, по собственному опыту; категория, которая поражает и скоростью своего формирования и чрезвычайной устойчивостью.

Книга Ильи Утехина “Очерки коммунального быта” (Москва, ОГИ, 2001) построена на полевой работе, проведенной “осенью 1997 и весной 1998 года в коммунальных квартирах С.-Петербурга”, следовательно, описывает *наше* время и при этом время постсоветское, ситуацию после перестройки, т. е., по идее, *иную*. Я, на собственном опыте, могу продлить это *наше* время вглубь, до предвоенных лет (конец 30-х гг.) по отрывочным, но тем более впечатляющим воспоминаниям. Во всяком случае, ужас перед постоянной темнотой казавшихся огромными пространствами (экономили электричество, чтобы не вступать в конфликты из-

⁵ Это вызывает недоумение и даже недовольство семьи Андреевых, поскольку ежедневные депеши стоят очень дорого. Не могу не сказать о впечатлении, которое производит скорость почтовых отправок в 20-е годы: обычное письмо из Ленинграда в Москву идет один день, а сейчас неделю, и хорошо, если дойдет.

за разделения платы)⁶ и столь же постоянное ощущение опасности, исходящей от соседей (какие-то *страшные старухи*), дикие правила коллективного пользования кухней и ванной, ярко описанные Утехиным, все это запечатлелось в памяти очень прочно.

Анализ мой состоит из двух частей, каждой из которых предпослан эпиграф из Шилейко. П е р в а я часть и п е р в ы й эпиграф – из его шуточных триолетов, датированных 1914 годом:

О чем же думать, в самом деле?
Живу просторно и тепло,
Имею стол и сплю в постели, –
О чем же думать в самом деле?
А если солнце мыши съели –
И с электричеством светло!
О чем же думать в самом деле?
Живу просторно и тепло.⁷

Но недолго длился этот счастливый период, когда можно было не думать о жизни, т. е. о быте. Переписка героев начинается в 1924-м году. Прошло всего 7 лет после революции, и полную разруху уже сменил достаточно устойчивый быт, нищенский и при этом жестко регламентированный в своей навязанной сверху и реальной, и идейной убогости. Приведу “письменные свидетельства” (взятые из переписки участников – она дополняется письмами матери Веры Андреевой Екатерины Ивановны). Из них явствует, что думать *в самом деле* приходилось о многом.

Лейтмотивы быта: холод – постоянные заботы о дровах, о теплой одежде и обуви – и если и не голод, то недоедание, дефицит самых простых продуктов, не говоря о каких-то предпочтениях, самых невинных.⁸

⁶ Чего сто́ит хотя бы такой утехинский пример: пожилая женщина призывала увеличить плату за электричество человеку, к которому ходило слишком много гостей: “жильцы квартиры пользовались кодом, согласно которому редкие гости пожилой дамы должны были звонить один раз, а гости ее соседа — три раза. Дама рассудила, что дверной звонок потребляет больше энергии от частых тройных звонков, чем от редких одиночных, а за электричество и она, и ее сосед платят одинаково, что представляет собой явную несправедливость” (48).

⁷ Эта жизнь засвидетельствована и в известном отрывке из “Антологии античной глупости”: “...Я был в гостях у Шилея. / Дивно живет человек – за обедом кушает гуся, / Кнопки коснется рукой – сам зажигается свет...”.

⁸ Условные обозначения: **Ш.** – Владимир Казимирович Шилейко, **Ахм.** – Анна Андреевна Ахматова, **В. Анд.** – Вера Константиновна Андреева, **Е. Анд.** – Екатерина Ивановна Андреева, **П. Ерн.** – Петр Викторович Ернштедт.

Ш. – Ахм. 25 декабря 1925: “...есть ли у тебя дрова?” (28).

В. Анд. – сестре 23 окт. 1926: “...Володя на именины подарил мне маленький подарок – деньги на перчатки <...> я так потратилась на болезнь, что и перчаток не купила и вообще в смысле зимних костюмов я оказалась совсем нищенкой” (92).

В. Анд. – Ш. 24 окт. 1926: “Из того, что ты пишешь о себе, меня больше всего пугают разбитые стекла. <...> [в Музее] везде чудовищно холодно” (93); 27 окт. 1926: “...меня очень беспокоит, что ты там голодаешь, дотягивая до ноября и пытаясь спасти книги. Мы тоже очень прижались и скрипим в ожидании ноября. Наверно, ты до сих пор без калош” (97); 3 ноября 1926: “...всякие современные глупости вроде добывания удостоверения, стояния в очереди за куском бумагеи и т. д. и т. д., которые так бессмысленно заполняют день. <...> Не очень ли голодаешь? Купил ли калоши?” (99); 7 марта 1927: “Напиши, пожалуйста, был ли ты у Лихачевых и неужели в грязной бумажной толстовке? Милый, сэкономь себе, пожалуйста, на костюм. <...> Я и то решила смастерить себе демисезонный костюм, так как в этом году моей коричневой кофте исполняется 10 лет” (139); 31 марта 1927: “Приезжай ко мне бодрым и веселым и в новом костюме, потому что для меня будет большое разочарование, если ты снова вернешься в той грязной тряпке, которую не снимал с себя эти три месяца” (158); 31 октября 1927: “Вчера он ездил за кроватью, но <...> она оказалась уже проданной. Сегодня мама поехала в кустарный музей купить плетеную. Они дешевые (4 р.), но неблагополучны в клопином отношении. Железной же я, несмотря на свои поиски, найти пока не могла. <...> если в Питере есть возможность достать какао, то достань себе...” (186-187).

Ш. — В. Анд. 29 октября 1927: “дровами и свечами запасаю, а это на зиму – самое главное” (182-183).

Удобства или, как у нас говорится, “жилищные условия”, весьма относительны: известно, что Шилейко жил в помещении, для жилья совершенно не приспособленном (мать Веры Константиновны пишет о том, что он наконец провел себе в квартиру воду: “...она была раньше в соседнем коридоре, ведь он живет в Мраморном дворце”, 192 – несколько необычные представления о жизни во дворцах).

Ш. – В. Анд. 31 октября 1927: “Возня по дому состояла в том, что я повел войну против надбавки за квартиру <...> и провел себе на кухню воду; теперь не нужно выбегать с кувшином или чайником в коридор” (188).

В. Анд. – Ш. 7 ноября 1927: “Ставишь ли самоварчик и жив ли твой старый примус?” (191).

Ш. – В. Анд. 10 ноября 1927: “...обхожусь стареньким примусом, выдыхающим огонь из всех щелей и пор” (193).

Уже тогда вместо *купить* появилось слово *достать*, которое только совсем недавно потеряло свою актуальность (при этом еще были и карточки). Исчезали как вещи первой необходимости, так и скромные “удовольствия” (сладости). Преимущество заграничных товаров перед “отечественными” отмечалось уже тогда.

В. Анд. – Ш. 31 октября 1927: “если в Питере есть возможность достать какао, то достань себе...” (187); 12 ноября 1927: [нужно достать пластырь] “но мы в большом затруднении, так как здешний, Мосздравотдела, тотчас отклеивается, а заграничного в Москве нигде достать нельзя. Поэтому я хотела тебя попросить поискать у вас в Питере, может быть в аптекарском магазине можно достать этот заграничный пластырь” (195).

Ш. – В. Анд. 18 ноября 1927: “Ни пластыря <...>, ни хорошего какао я еще не мог достать” (196).

В. Анд. – Ш. 3 декабря 1927: [пластырь] “можно перестать разыскивать, так как и русский оказался пригодным. Но если в Питере есть чай, то захвати с собой запасец. В Москве он постоянно исчезает, и продают все ту же дрянь” (202).

Ш. – В. Анд. 28 февраля 1928: “...сладости я попробую достать в Гостином дворе. Косхалвы теперь больше не делают” (211); 24 февраля 1928: “Нам с тобой самим придется писать и разрисовывать книжки для сынкиного употребления: детских книг больше нет” (207).

В. Анд. – Ш. 26 ноября 1928: “...чтобы ты привозил запас чаю, если у вас можно его достать” (243); 29 ноября 1928: “Я искала тебе матерьял на новый комплект [белья], но до сих пор не удалось достать” (244); 27 февраля 1929: “Сегодня мне говорили, что в Петербурге совсем нет сахара. Как ты устраиваешься с чаем” (249).

Ш. – В. Анд. 28 февраля 1929: “...запаси побольше чая, если будет случай – пришли немного сюда, а главное – имей его дома” (250).

В. Анд. – Ш. 5 марта 1929: “Относительно чая здесь сейчас так же плохо, как и у вас. Мне удалось пока приобрести только четверку. <...> Говорят, что на днях должен быть чай, и я попросила тетю Зину и Дуняшу следить” (252).

Ерн. – В. Анд. 15 ноября 1929: “В добывании продуктов затруднения нет” (268).

Е. Анд. – сыну в Париж 12 декабря 1929: “При всех тягостях современной жизни – больной муж, которого надо усиленно питать, когда и для обычного питания многого не хватает. Того, что дают по карточкам, конечно, мало, и приходится постоянно разыскивать какую-нибудь прибавку” (273).

Уже говорилось, что к этому времени коммунальные квартиры были частью устоявшегося быта. Отдельный сюжет в переписке – выселение жильца, которым “уплотнили” профессорскую квартиру Андреевых. После долгих перипетий это удастся, и следует описание той грязи и разгрома, который он оставил после себя. Одновременно возникает тема клопов, которая вообще проходит через советский быт красной нитью. С ними борются, но молчаливо признают их право на жительство в квартирах и специально – в диванах.

Е. Андр – дочери в Париж 15 декабря 1926: “Наконец к вечеру выехал наш Виталий, которому дали комнату в доме Кубу, и после него было столько пыли и сору, что мы с нашей женщиной целый день возились, и только сегодня она там вымыла пол, и уборка закончилась. Кроме того, долго возились с папочкиным диваном, на котором он <выехавший жилец> спал и отделал его вконец и столько завел клопов, что мы весь день их вычищали. Вера вчера уже позвала драпировщика, который взялся его заново ремонтировать с новой подкладкой, потому что вся подкладка оборвана, ведь он спал без простынь...” (113).

Я опускаю мотив безденежья: все траты приходится высчитывать до копейки, и эти расчеты сопровождают едва ли не каждое письмо. А ведь речь идет о сотрудниках крупнейших музеев и университетских профессорах, о выдающихся личностях, наконец. Как бы ни повторять, что гуманитарии всегда находятся в уязвимом положении, но эта ситуация казалась бы фантастической – если бы не была реальной. Сделаю еще одну оговорку: все “бытовые” примеры – не более чем отдельные строчки в письмах; они теряются на фоне других тем: поэзия, наука, искусство, но тем более задевают.

Что же было противопоставлено этому убогому и крайне унижительному состоянию? В связи с Шилейко и Ахматовой можно говорить не столько о тяжелом быте, сколько о “безбытности быта”. Я могу предположить, что это было своего рода защитной реакцией, ответом наступившему “царству Хама”. Конечно, и в своей “прежней” жизни и Ахматова, и Шилейко были то, что называется “богемными людьми”, но в тех нормальных условиях, в которых они жили, они могли позволить себе не обращать внимания на бытовую сторону жизни. Ясно, однако, что у них не было специальной установки на разрушение быта.

Мать Веры Андреевой описывает Шилейко так: “Он очень ученый, востоковед, знает массу языков, между прочим еврейский, и специалист по ассирийской и вавилонской клинописи. Читает на восточном факультете в Петрограде, а здесь в Музее заведует восточным отделом. Про него говорят, что он хороший человек, но к нему неприложима обычная человеческая

мерка; есть в нем что-то диогенское. <...> У него громадная память и, что ни назови из литературных произведений, он сейчас начинает декламировать на всех языках, и древних и новых. Он брюнет с черными глазами, высокого роста, но сильно горбится и ходит с палкой... На вид он старше своих лет, много курит и пьет такой крепкий чай, как я никогда не видала в жизни" (72).⁹

Вот это *диогенское*, т. е. протест против навязываемого новой жизнью унижения бытом, проявлялось, как мне кажется, и в той организации жизни, которая выглядит безумием. Не иметь денег на еду, квартиру, одежду, но покупать альбины – это более или менее обычная вещь для библиофилов или вообще коллекционеров. Но держать в этих условиях сенбернара, который, кроме всех сложностей содержания, требует больших расходов (тема сенбернара в письмах постоянна), это безумие, которое среди прочего может вписываться в то же противодействие навязанной советской жизнью клетке.

Конечно, напрашивается противопоставление между безбытностью Ахматовой и домашним устройством семьи Андреевых с ее прочными традициями правильного ведения хозяйства, уютом и т. д. которые, как будто бы, должны, во-первых, объяснить выбор Шилейко, а во-вторых, подвести к классической оппозиции между Москвой и Петербургом – Ленинградом и тем самым к *петербургскому тексту*.

И здесь я перехожу ко в т о р о й части, отмеченной своим эпиграфом. По приглашению Лозинского (член давнего триумvirата Гумилев – Лозинский – Шилейко), сын Шилейко Алексей Владимирович побывал в 1946 году в Ленинграде. Вера Константиновна написала Лозинскому письмо с благодарностью. Среди прочего, она пишет, что сыну очень понравился Ленинград. Но ведь естественно, что "туда его влечет неведомая сила". И далее: "Владимир Казимирович очень не любил Москвы..." (*Пометки* 29).

В письме от 5 ноября 1926 г. Вера Константиновна пишет: "Мне огорчительно было читать в твоём письме, что у тебя нет желания налаживать свои петербургские дела. Ведь все равно совсем порывать с Петербургом тебе невозможно" (101) и в другом месте упоминает "немилую тебе Москву" (89). Это противопоставление вводит тему двух городов. Меньше всего я хочу сравнивать Ахматову и Андрееву, высказывать предположения насчет причин выбора (если таковой состоялся), но сделаю несколько замечаний.

⁹ Это объясняет частую тему чая в письмах.

Первое: устойчивый и организованный быт интеллигентной профессорской семьи Андреевых отнюдь не был мещанским. Это был столь же достойный, но *другой* выбор бескомпромиссного (насколько это было возможно в советских условиях) отделения себя от того мира, в который их насильственно поместили: они следовали *своим* правилам в *своей* жизни. И у них духовное безусловно превалировало над материальным, но при этом была твердая установка на соблюдение порядка и семейных обязательств и традиций. Среди примеров их неприятия новых условий (и в частности, коммунистов, невежественных людей, которые приходят на руководящие должности, в том числе, в Музей изящных искусств) назову только один: в московских письмах никто не употребляет имя “Ленинград” – город называют Петербургом, Петроградом или Питером. Дистанцированность от новой идеологии проявляется неукоснительно.

Второе: Шилейко никак не врос в этот быт: он, судя по письмам, его особенно не ценил (хотя и старался “угодить” В. К.) и, напротив, выступал постоянным его разрушителем, что не могло не вызывать недовольство Екатерины Ивановны (“Ведь ее муж совсем не вошел в нашу семью”, 91), но не задевало Веру; конечно, это недовольство не приводило ни к каким ссорам и выяснениям отношений. Забавно, что москвичей, по традиции чаевников, приводило в ужас то, что Шилейко живет на одном чае, притом крепчайшем.

Третье: напрашивающееся противопоставление Москвы и Ленинграда по признаку *быта* (достаточно сравнить питание Шилейко – в Ленинграде хлеб, сыр, колбаса, то, что презрительно называется “кусочничество”, – в Москве блины, пирог с вишнями, творог со сметаной и т. п., ср. в письме Е. Анд. от 27 сентября 1927: “Здесь Вера очень о нем заботится, а там он безо всякого ухода”, 166), это противопоставление “не работает”. Быт не связан с локусом. В недавно вышедшей книге об Ахматовой и Гаршине¹⁰ проигрывается та же схема: Гаршин оставляет Ахматову, женится на своей коллеге, выбирает устроенный быт, – но все это происходит в Ленинграде.

Однако заданное в письме Веры Константиновны противопоставление городов-локусов, более того, неприятие Москвы Шилейко, остается. Есть основания предполагать, что и В. К. не очень жаловала Ленинград (хотя именно там она познакомилась с Шилейко). У каждого на то могли быть свои причины.

¹⁰ “Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин”. Сост. и комм. Т. С. Поздняковой. СПб. Невский диалект. 2002.

И тут, наконец, я подхожу к *петербургскому тексту*. Недавно вышла книга Марка Амусина “Город обрамленный словом. (Ленинградская школа прозаиков и трансформация *Петербургского текста*)” (Studi slavi e baltici. Dipartimento di linguistica. Università degli studi di Pisa № 5, Tipografia Editrice Pisana, 2003). Из этой книги следует, среди прочего, что ленинградские прозаики, начиная с 60-х годов, работали на воспроизведение *петербургского текста*, причем руководствовались в той же степени Гоголем и Достоевским и т. д., что и работами по *петербургскому тексту*. Это сохранилось до сих пор. Иногда кажется, что автор выполняет домашнее задание – заполнить пустые клеточки нужными словами – и в который раз появляется темная вода, ветер, дворы-колодцы и далее *ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь*. Иными словами, *мыслям и чувствам довлеет не только этот город*, но и его модель, *петербургский текст*, который уже приобрел на это *старинное право*.

Чтобы быть справедливой, скажу, что есть и соответствующие московские клише – сорок сороков церквей, малиновый звон, переулки, Замоскворечье с его колоритным купечеством, мифологическое хлебосольство и т. п. – просто тема *московского текста* не так отработана, и соответствующих пособий по нему пока нет. Думаю, что в поисках клише стоило бы обратиться к литературе русской эмиграции, прежде всего первой волны.

На этом фоне тем более интересно посмотреть, какими предстают эти города в нашем эпистолярии. Шилейко – петербуржец во всех смыслах этого слова. Его стихи проникнуты Петербургом – но Петербург там ни разу не назван. Один раз появляются (и потом исчезают) эпитафия “На Васильевском славном острове...” и название “Васильевский остров” – в стихотворении “Здесь мне миров наобещают...” (1914), но в самом стихотворении никаких петербургских помет нет.¹¹ Точнее, есть “антиквизация Петербурга”, прием также известный (см. хотя бы Вагинова): Петербург “приводит в память дом / На белых улицах Элеи, / ...Над ионическим стволем / Там веет листьями аканфа” (1914).

В нашей петербуржско-московской переписке практически нет городских пейзажей.¹² Есть – весьма скудные – адреса. Примечательно, что

¹¹ “Здесь мне миров наобещают, / Здесь каждый сильный мне знаком, / И небожители вещают / Обыкновенным языком...”.

¹² “Интерьерный пейзаж” Ленинграда, по записям Лукницкого: Ахматова в шубе за столом в полутемной холодной комнате, в большой комнате за письменным столом Шилейко (36). Но так же холодно и в Музее изящных искусств, и в московском доме Андреевых.

Шилейко пишет В. К. (17 ноября 1926): [Москва] “из пространства становится для меня временем” (105); немилая Москва как локус не существует, и он мирится с ней лишь постольку, поскольку ценностью становится время, проводимое с В. К. и с сыном.

При этом противопоставление двух городов-текстов существует.

Ш. – Ахм. 8 февраля 1925 из Москвы: “...что делается в Вашем городе и в Вашем доме. <...> Здесь с середины января ежедневно 2°–3° тепла, и снега нет совсем. Страшно подумать о лете! Будете ли Вы в Москве до мая? Мы без Вас совсем-совсем дряхлеем <...> В Москве [Выделено Шилейко - Т.Ц.] мне было несказанно грустно наткнуться на эту таблетку” (24).

Ш. – В. Анд. 27 января 1926: “В ее (Ахматовой) петербургских стихах опрокинулось небо молодых без истления лет” (34).

Дом и пейзаж для Шилейко – конечно, Петербург:

Ш. – В. Анд. 22 октября 1926: “Дома просторно и пусто, тепло и книжно” (90); 13 октября 1927: “Здесь у меня тепло и чайно, книжно и бесшумно” (174); 9 февраля 1927: “Здесь после оттепелей стало несколько морозней. Среди бела дня бродит солнечный призрак, ночью – светлейшая новобрачная луна. Оба гостят у меня в окне и возвращают фиалки” (126).

Образ городов создается адресами и учреждениями, соответственно профессиям авторов, – музейными и научными.

Москва: Пречистенка, Арбат, Нижний Лесной переулок, набережная, 3-й Ушаковский пер., Арбатская площадь, бульвар (Садовое кольцо), Нескучный, Новодевичий (монастырь), Неопалимовский переулок, Мясницкая, Гусятников переулок; Неопалимовская церковь, “Прага”, “Дунай” (столовые), “Мансарда” (кабачок Пронина в Москве); Главнаука, РКИ, Музей изящных искусств, Исторический музей, Восточный музей, Кустарный музей, Университет, 2 МГУ. Московский локус ограничен и характерен, Это так называемая дворянская Москва, в основном между Остоженкой и Арбатом. Главная артерия – Пречистенка, которая соединяет Музей изящных искусств и Новодевичий монастырь. Много переулков (клишированная примета Москвы). Кстати, в том же локусе и тоже в переулке (3-й Зачатьевский, отходящий от Остоженки к Москве-реке) в 1918 году жили Ахматова и Шилейко.¹³ И как раз эти места своих прогулок с Шилейко вспоминает Вера Андреева (Нижний Лесной и Ушаковский переулки).

¹³ “Москва (первая). С Шилейко. III-ий Зачатьевский, 3? Осень 1918” (*Записные книжки*, 662).

Петербургские адреса более скупы.¹⁴

Петербург (Ленинград): Невский, Марсово поле, Миллионная 5 кв 12 (адрес Шилейко во флигеле Мраморного дворца), Роты Измайловского полка (адрес академика Коковцова), Гостиный двор, Екатерининская (ресторан); Нева, Фонтанка; Эрмитаж, Русский музей, Академия Истории Матерьяльной Культуры (Дворцовая набережная 6), Азиатский Музей, Университет (ЛГУ, “хожу через Неву”, 135), библиотеки.

Есть еще один примечательный способ обозначения *локуса* – через погоду/климат. Поскольку осень, зиму и раннюю весну Шилейко и В. К. обычно проводили врозь или виделись урывками, эти сезоны и служат фоном пейзажных описаний.



Василий Семенович Садовников. Мраморный дворец.
Акварель на бумаге. 1847

¹⁴ Возможно, это связано с тем, что не все свои маршруты Шилейко сообщал В. А. (например, Шереметевский дворец). Кроме того, для него характерна замена адреса фамилией (был у Лихачева, Ернштедта и т. п.). Это, в свою очередь, может быть связано с тем, что В.К. не так хорошо знала топографию Петербурга.

Москва. “Но погода в Москве отчаянная: грязь и мокрый снег, и я боялась, что для нее [Ахматовой. - Т.Ц.] она будет вредной” (7 марта 1926); “У нас тоже весна, но проглядывает солнышко и манит чем-то веселым там вдали за Нескучным” (7 марта 1927); “Наступление настоящего марта (по старому стилю) очень подбадривает, хотя погода у нас ужасная, серая, мокрая” (14 марта 1927); “У нас стоят ясные, солнечные дни, но все еще холодно” (25 марта 1928); “...очень сыро.<...>У нас снег почти уже весь стаял, и при первом солнечном дне, наверно, начнется настоящая весна” (2 апреля 1928); “здесь все время идет дождь” (13 октября 1928); “стоят темные-темные, сыровато-теплые дни. <...> Ведь, наверно, снег у вас более одного дня не пролежал” (16 ноября 1928); “сегодня у нас наконец выпал снег, и, может быть, к твоему приезду будет зима” (29 ноября 1928); “у нас опять холод, все время держится около 20°” (23 февраля 1929).

Петербург. “Здесь настанет весна, тяжелая и тленная, каких так не любил покойный Анненский. Сегодня я с трудом по лужам перебирался через Невский лед. В оттепельном паре невозможно думать, перелетной птицей хочется в Москву” (4 марта 1927); “Здесь снова мороз” (19 марта 1927); “Вчера здесь выпал первый снег” (13 октября 1927); “Погода стоит ужасная, ветер и дождь. На Марсовом поле лежал такой хороший снег, и теперь он весь будет смыт” (31 октября 1927, 188); “Сегодня морозный солнечный день, но Нева стоит почти вровень с берегами. На Марсовом поле, перед моим окном, возводят деревянную башню. За другим окном 7 ноября должно гореть искусственное солнце, но оно еще не взошло” (2 ноября 1927); “День был удивительно хорош, безветренный и снежный” (4 ноября 1927); “В воскресенье <...> случилась снежная буря... Вчера Нева наконец стала” (15 ноября 1927); “Снег валит хлопьями, морозно, ветрено” (18 ноября 1927); “Очень здесь нехороша погода, ветры да мороз. В Москве это переносится легче” (23 ноября 1927); “Здесь стала оттепель, принесенная западным ветром. Снег почти весь стаял” (30 ноября 1927); “...какие здесь звенят бубенчиками масляные вейки, в лентах и цветах бумажных! Вот бы нам ‘в тесноте саней ревнивых’ не боясь, сидеть нога с ногой и звенеть куда-нибудь вдоль Невы” (24 февраля 1928); “Здесь, после нескольких теплых дней, снова похолодало, но солнце возьмет свое” (4 марта 1928); “...вот и ноябрь <...>. Здесь начался обычный затяжной осенний дождь, но все еще тепло и трава на Марсовом поле еще зелена” (2 ноября 1928); “...я попал под первый снег. Сегодня утром встал – все вокруг в серебре” (12 ноября 1928); “Снег здесь сошел, и та же теплынь и темень, что в Москве. Нева ведет себя добропорядочно, но на заливе иногда бывают штормы. Зима, по-видимому, опоздает” (20 ноября 1928).¹⁵

¹⁵ Обращает на себя внимание сходство погоды в Москве и Петербурге – ср. их обычное (мифологизированное) противопоставление, в большой степени заданное *петербургским текстом*.

“Погодные пейзажи” Шилейко более поэтичны и литературны и, соответственно этому, в большей степени связаны с *петербургским текстом*, – поскольку они в большей степени привязаны к локусу. Локус этот столь же характерен для обозначения Петербурга (литературно узнаваем), сколь и ограничен. Точка отсчета и центр – *дом Шилейко*, т. е. Мраморный дворец, который выходит на набережную Невы, на Миллионную и (флигель) на Марсово поле. Это характерный для Петербурга ландшафт – плоское обширное пространство между водой и условной *тегга fegma*, причем от воды (главной реки, Невы) всегда исходит опасность. Ориентиры по отношению к дому – *спереди* (Марсово поле) и *сзади* (Нева), но не *слева* и *справа*. Между тем пейзаж левой стороны (если смотреть на Марсово поле) особенно значим: это площадь перед Троицким мостом, где стоит памятник Суворову, а далее влево, через Лебяжью канавку, – Летний сад. Из записей Ахматовой (ее адреса) известно, что квартира Шилейко была угловая, и одно окно выходило “на Суворова” и “через него” на Летний сад.¹⁶

Этот пейзаж в полном виде отразился в редком для поздней Ахматовой “светлом” стихотворении “Летний сад”, которое в одном из вариантов оканчивалось строфой совершенно иной тональности: “Опять подошли ‘незабвенные даты’ / И нет среди них ни одной не проклятой...”; это объединение вводит в область сложного клубка личных отношений.

И здесь я останавливаюсь:

Я к розам хочу — в тот единственный Сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

.....
А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

И шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

.....
9 июля 1959. Ленинград

¹⁶ “Мраморный дворец (одно окно – на Суворова, другое – на М<арсово> Поле. 20-е годы. (Кварт<ира> Шилейко – он в Москве)” (*Записные книжки*, 663).

(Было: А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,
И там попрощаюсь с тобою навек,

Мудрец и безумец — дурной человек)
(*Записные книжки*, 43).¹⁷

Что можно сказать в заключение? Как прочтет эту “Повесть о двух городах” тот воображаемый читатель, который не знает ни о традиционном противопоставлении/соревновании Москвы и Петербурга, ни об их истории и топографии, ни тем более о *петербургском* и *московском* тексте? Что он извлечет? Объединит (в частности, советским бытом) или “разведет” эти локусы, как петербургские мосты? Для меня это остается вопросом.

¹⁷ Ср. в том же стихотворении о конце *злой неволи*. В последней записной книжке Ахматовой, во фрагменте воспоминаний о Лозинском и о триумvirате Лозинский, Гумилев и Шилейко, ему посвящены недобрые строки: “О шилейкинском чаромутии не берусь судить <...>. Оба, Лоз<инский> и Гум<илев>, свято верили в гениальность третьего (Шилея) и, что уже совсем непростительно, — в его святость. Это они (да простит им Господь) внушили мне, что равного ему нет на свете...” (*Записные книжки* 702-703).